

Лит. газ. — 1996 — 11 сент. — с. 6

Иосиф БРОДСКИЙ

Выбирая между репутацией и правдой

ЧТО БЫ я ни сказал об этом поэте, переживание чтения, которое вам предстоит услышать, будет неизменно больше сказанного и вряд ли совпадет с двумя или тремя соображениями, которые я собираюсь вам изложить. Всякий разговор о поэзии есть неизбежное сужение предмета, о котором идет речь, усушка и утреска, хотя бы потому, что статья, рецензия или речь есть проза. Но, может быть, смысл подобного обычая — представления поэта публике — в том и состоит, чтобы предварить поэзию прозой, создать ощущение контраста. Во всяком случае, представляющий, то есть я, чувствует, что своими разглагольствованиями отнимает время, и без того ограниченное, а публика думает: поскорей бы он убрался, мы пришли сюда не за этим. Я полностью согласен с этим отношением и уверяю вас, что не стоил бы тут, если бы устроители вечера меня об этом не попросили. Попросили же они меня об этом, исходя из соображений, что выступление поэта должно быть предвзято замечано о его биографии и творчестве.

Нет предположения более ошибочного: сколько я себя помню, всегда сначала читал стихи и только потом, и то далеко не всегда, интересовался биографическими данными. Биография для понимания творчества дает чрезвычай-

но мало, и события в жизни поэта, как и в любой жизни, случайны и по существу однообразны: рождение, школа, вузы, служба, браки, разводы — это удел миллионов и поэта в том числе. Люди с богатой биографией, как правило, стихов не пишут. Можно пережить бомбардировку Хиросимы или провести четверть века за колючей проволокой в лагере и не написать ни строчки. И можно провести только одну ночь с девицей и написать "Я помню чудное мгновенье..."

Что из этого следует? а) что мое присутствие на этой сцене грозит затнуться и б) что монотонность существования более тесно связана с творчеством, чем принято думать.

Именно монотонность существования более всего ответственна за стилистическое, жанровое, метрическое разнообразие в творчестве поэта, грубо говоря, за его внутреннюю насыщенность. Поэтому биографию Александра Куш-

ра вы от меня не услышите. За исключением разве того, что ему сейчас примерно пятьдесят восемь лет, что стихи он уже пишет четыре десятилетия, что он выпустил за эти годы около десяти поэтических книг, если я не ошибаюсь, общим тиражом, я полагаю, достигающим, вероятно, полмиллиона. Внешними событиями жизнь его крайне бедна. Он, может быть, с этим не согласится. В творческом отношении (подлинная биография поэта — в его рифмах, строках, строчках, в его ритмике, тембрах) я не знаю жизни богаче и качественнее, и колличественно. Написано им чрезвычайно много, больше, думаю, чем любым из его современников.

Одно это обрекает любую попытку кратко охарактеризовать и определить этого поэта — на немедленный провал. Созданное Кушнером пропорционально, лучше сказать — равнозначимо его жизни вообще. В поэзии нашей, в этом сто-

летий по крайней мере, нет явления, более органического как в смысле содержания, так и в смысле поэтики.

Я бы даже сказал, что творчество Кушнера настолько переплетено с его непосредственным физическим существованием, что трудно сказать в конце концов, что является побочным продуктом чего: жизнь — творчество или творчество — жизни. Теория отражения, во всяком случае здесь, не срабатывает. Тем не менее я считаю своим долгом исполнить роль конференсье как следует и попытаться дать тому, что вы через минуту услышите, более или менее внятное определение. Для этого мне придется извлечь нашего автора из контекста русской культуры и окунуть его на секунду в контекст культуры классической. В результате этой деликатной операции немедленно ясно становится одно — что Кушнер поэт горацанский, то есть в его случае мы сталкиваемся с темпераментом и поэтикой, пришедшей в мировую литературу с появлением Квинта Горация Флакка и опосредованной в русской литературной традиции.

Это поэзия равновесия и наблюдения, равновесия, полученного от природы и на протяжении жизни все с большим трудом сохраняемого. Что касается наблюдения, мне бы не хотелось, чтобы это путали с созерцанием. Наблюдение

предполагает контроль над объектом внимания. Созерцание же — определенную пассивность, переходящую в отождествление с объектом внимания и растворение в нем. Я хотел бы подчеркнуть, что Кушнер поэт именно наблюдательный и более чем наблюдательный, хотя в этом ему никак не откажешь. Ни в коем случае не созерцательный. Он — комментатор: частных обстоятельств, но более — бытия в целом. И его комментарий следует, на мой взгляд, доверять более чем чему бы то ни было, ибо комментирует он с позиций именно равновесия, а не той или иной, привлекающей, может быть, но всегда настаивающей крайности.

И первым свидетельством этого сохраняемого им равновесия является его поэтика. Главная черта поэтических средств Кушнера — сдержанность этих средств, не раз служившая поводом к упрекам в традиционности. Кушнер безусловно не новатор, особенно в бульварном понимании этого термина. Но он и не архаист даже в тыняновском смысле. Подлинный поэт всегда выбирает между репутацией и правдой. Если его интересует больше репутация, он может стать "новатором" или, наоборот, "архаистом". Если его больше занимает правда — он стремится говорить своим собственным голосом. И собственный голос всегда скорей оказывается традиционным, ибо правда о человеческом существовании сама по себе архаична.

Кушнер поэт чрезвычайно современный. Я бы даже уточнил, своевременный. У каждой эпохи предположительно существует своя собственная тональность, и поэзия фиксирует эту тональность первой. В творчестве Кушнера вы слышите несогласие человека с тем, что выпало на его долю. Его, ее (то есть этой поэзии) тенор несогласия с неограниченным временем, с неограниченной пошлостью, окружающего мира в частности. Грубо говоря, вы слышите в сти-

хах Кушнера голос человека, отмеряющего свое на земле время на ударами курантов, но метрономом русского четырехстопника. И как мы могли уже убедиться, метроном этот оказывается долговечнее государственной пружины, хотя и пущен был в ход почти двести лет назад.

Сознание современной аудитории сильно разложено понятием авангарда. Авангард, дамы и господа, термин рыночный, причем, если угодно, лавочника, стремящегося привлечь потребителя. Ни метафизической, ни семантической нагрузки он не несет, особенно сейчас, когда до конца столетия, тысячелетия остается всего лишь пять лет. Авангард по сравнению с чем? Во всяком случае, не с поэтическими средствами Кушнера, представляющими собой сплав поэтики пушкинской плеяды и поэтики акмеизма. Если можно говорить о нормативной русской лексике, то можно, я полагаю, говорить о нормативной русской поэтической речи. Говоря о последней, мы будем всегда говорить об Александре Кушнере.

Благодаря переменам к лучшему, произошедшим в последние годы, острота от появления поэта, живущего в отечестве, перед русской аудиторией по эту сторону Атлантики постепенно стирается. Отныне читатель может вынести суждения о творчестве поэта без скидок или наценки на обстоятельства места. Кушнер — всего лишь русский поэт, вы — всего лишь русская аудитория. География, разумеется, остается географией, но отраднее, что и она начинает подчиняться культуре. Ваше присутствие здесь и состояние ваших умов по окончании этого вечера тому подтверждение. Я думаю, что многие из вас будут достаточно изумлены, обнаружив, сколько мало качественно иной жизненный опыт повлиял на ваше восприятие русской поэзии, с лучшим представителем которой вы сегодня встречаетесь: Александр Кушнер.

Менее двух лет назад, 10 декабря 1994 года, — так недавно и так давно — на вечере Александра Кушнера в Нью-Йорке вступительное слово произнес Иосиф Бродский. Он говорил о поэте, которого знал еще по Ленинграду, но и о поэзии вообще, и о жизни, и о лабиринтах творчества...

Сегодня, в канун шестидесятилетия Александра Семеновича Кушнера, мы печатаем эту посвященную ему речь вместе с его собственной статьей об Иосифе Бродском. В ней не просто ответный жест, в ней широкий комментарий к тому, что было щедро сказано на поэтическом вечере в Нью-Йорке.

только жертвой жестоких обстоятельств, игрушкой в руках судьбы не следует. Да, он был вытеснен из страны, но отъезд был задуман им самим — и осуществлен.

В послесталинскую, тем более — в постхрущевскую эпоху у человека в России появилась возможность жестокого выбора: оставаться в стране или уехать из нее навсегда (о тех, кто имел возможность выезжать за границу по командировке или с привилегированной туристской группой под присмотром стюкачей, я здесь не говорю).

17 мая 1972 года мы встретились с ним на Крюковом канале: он сказал мне, что в каких-то самых высоких инстанциях сейчас решается вопрос о его отъезде. Пригласил меня к себе домой — и, когда мы сидели в его "полтора комнат" (родителей дома не было), раздался телефонный звонок. Он снял трубку, ему что-то сказали, он ответил: "Да". Затем, положив трубку на рычаг, победно, закрыл лицо руками. Я понял, что произошло, и сказал ему: "Представь себе, что они отменили свое решение. Разве было бы лучше?" Он отвел ладони от лица, повеселел, краска вернулась к его щекам.

Повторю еще раз: окончательный от-
нишу...". Вдоль и поперек исходил ее в своем воображении, рассматривая альбомы, вглядываясь в фотографии, читая Т. Манна, Г. Джеймса, П. Муратова и Пруста.)
Тогда же, 17 мая 1972 года, он подарил мне оттек своего опубликованного на Западе стихотворения "Разговор с небожителем" с надписью: "Дорогому Александру от симпатичного Иосифа, в хорошем месте, в нехорошее время".

Фото М. Беломлинского



нишу...". Вдоль и поперек исходил ее в своем воображении, рассматривая альбомы, вглядываясь в фотографии, читая Т. Манна, Г. Джеймса, П. Муратова и Пруста.)

Тогда же, 17 мая 1972 года, он подарил мне оттек своего опубликованного на Западе стихотворения "Разговор с небожителем" с надписью: "Дорогому Александру от симпатичного Иосифа, в хорошем месте, в нехорошее время".

можность жизни и создания стихов за границей; случаи этот отличал от эмигрантской судьбы поколения 10–20-х годов тем, что был единичен: на Западе сехал не целый культурный пласт, как это произошло после революции и потом, в конце семидесятых, а человек в единственном числе, наш, так сказать, представитель, "испытатель боли".

О том, что Бродский хорошо осознавал свою роль, говорит его высказыва-

ных..."). "Темзу в Челси" ("Город Лондон прекрасен, в нем всюду идут часы./ Сердце может только отстать от Большого Бена..."), "Мексиканский дивергент" ("Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствий, / всюду жестокость и тупость воскликнут: 'Здравствуй, / вот и мы!..'). "Кольбельную Трескового Мыса", "Декабрь во Флоренции" и постигали нечто, похожее на выученную в школе математическую аксиому: от перестановки слагаемых сумма не меняется. Сумма радостей и огорчений, отпущенных человеку на земле, человеку, способному "мыслить и страдать", — примерно одна и та же, независимо от места и времени (речь, разумеется, не идет о разбойных временах, заливающих местность кровью).

"По прихоти своей скитаться здесь и там..." Выяснилось, что по прихоти своей скитаться — не бог весть какое удовольствие. "Улица. Некоторые дома / лучше других: больше вещей в витринах; / и хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума, / то, во всяком случае, не внутри них". Обнаружилось, что человек, проживший хотя бы половину жизни в стране, где он имел счастье (несчастье) родиться, не освобождается от ее притяжения и влияния. Это влияние и притяжение посылней воз действия Марса или Сатурна на своих земных подопечных с их астрономическими фобиями и маниями. Страна отбрасывает тень, и эта тень дотягивается до любого беглеца и странника, тем более накрывает она человека, пищеющего стихи.

Есть лишь одна возможность почувствовать себя действительно свободным, то есть счастливым (слова, в синонимический ряд поставленные Пушкиным), возможность эта предполагает свободу для всех, оставленных тобой в несвободном мире. "Трепещею радостно в восторгах умиления", можно наслаждаться искусством и пейзажами лишь тогда, когда въезд и выезд из страны открыт для всех желающих — в любое время. Именно так в XIX веке (конечно, с оговорками, принимая во внимание крепостнический, самодержавный характер страны) выезжали за границу и жили в Европе и Тютчев, и Гоголь, и Блок. А в Италии, например, так жили и нашли последний приют англичане Шелли и Китс.

Получив возможность впервые увидеть свободный мир в 1987 году, кстати сказать, благодаря хлопотам Бродского, настоявшего на том, чтобы мое имя не было вычеркнуто из списка писателей, приглашенных американским Пен-клубом, я испытал радость, близкую к эйфории. А затем увидел и Францию, и Ан-

лию, и Голландию... В Париже я нашел шестизатный дом с гостиницей "Union Hotel Etoile" на улице Hamelin, 44, с маленькой неприметной мемориальной дощечкой, дом, в котором, преследуемый смертельным недугом, спешил обрести утраченное время Пруст; в Делфте — собор, где похоронен Верmeer; в Амстердаме стоял перед, может быть, лучшей его работой: молочницей в синем фарфоре (такого синего я больше нигде никогда не видел), переливающей из кувшина в миску ярко-белое перекрученное, как бельевая веревка, молоко... "Вот счастье! вот права..."

Этот благословенный, созданный по человеческой мерке, праздничный запальный мир не вошел в стихи Бродского, ну, разве что самым призрачным, размытым своим краем. "Восторгов умиления" в его безрадостных, безутешных, грандиозных, хранящих "движенья вид" стихах нет.

Неужели Пушкин, вырвись он на Запад где-нибудь в 1829 году, был бы так же холоден, мрачен и ироничен? Или мы умеем радоваться "природы красотам" лишь в воображении? Нет, конечно.

Причина — в разрыве с Россией, разрыве, казавшемся тогда пожизненным, окончательным и обжалованию не подлежащим. Бродский поставил на себе опыт, о тяжести которого, конечно, догадывался, но всю горечь которого заранее не осознавал. Разнести себе голову выстрелом из браунинга в каком-то смысле легче, чем жить с неотступной сердечной тоской.

Каждый, кто оказывался когда-либо в жизни в прекрасном месте, знает чувство томительной неполноценности счастья по той причине, что рядом нет дорогого тебе человека, для которого этот ландшафт, эта улица, собор, статуя из Афинского Акрополя значат то же самое.

Мне кажется, в данном случае это чувство было еще более острым, поскольку речь шла не об одном человеке, но сразу обо всех, кого он оставил в России, для кого цивилизация значила больше, чем насущный хлеб и ночная ласка".

Конечно, Бродский был не только мужественным, но и в высшей степени самодостаточным человеком, нуждающимся в людях несравненно меньше, чем в них нуждаются другие. Тем не менее и для него обмен оказался неравноценным: часто пишется "обмен", а читается правильно "обман". Он очень многое получил, но отдал еще больше.

И даже спасительная для поэта возможность запечатлеть увиденное в стихах не избавлял его от горького ощущения недостаточности личного, биографического достижения: пишется стихи, но они, как вода в венецианском канале, отражают наше одиночество.

Затем, в самые последние годы, ситуация упростилась, получила неожиданное разрешение, да и он сам все глубже погружался в американскую жизнь. Пребывание за границей перестало давать повод для стихов, стало расхожим лирическим сюжетом.

Нет, он не гнал в своих прекрасных, лишенных и проблемна надежды стихах: частная жизнь, которую мы так ценили, добываясь свободы на самых разных путях (пути Бродского — один из самых ярких и безоглядных), связана множественными нитями с общей жизнью, общей судьбой. Их ослабление, тем более обрыв, причиняет постоянное, всюду преследующее чувство утраты.

К счастью, самой прочной из этих нитей оказывается самая неосознанная — поэтическая речь, ее он леплел и крепил, не выпуская из рук до последнего часа.

Исправление ошибки

В прошлом номере "ЛГ" по техническим причинам была полостью под полемическими замечаниями "Шуми, братцы, шуми!". Их автор — Виктор Толполянский. Приносим извинения ему и нашим читателям.

“По прихоти своей скитаться здесь и там...”

Александр КУШНЕР

чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол, буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумею умереть в Венеции от естественных причин" (Бродский, "Набережная неисцелимых"). Мечта, конечно, абсолютно декадентская, но в 28 лет человек с мозгами всегда немножко декадент" — с иронией продолжает он.

Пушкин и в 28 лет не был декадентом (не был бы он им и в нашем веке), и застрелился в Венеции ему бы и в голову не пришло. Но в его мыслях и стихах она всплывала то и дело. В 1835 году в своей "Истории Петра" он отмечает: "27-го <декабря 1716 года> Петр осматривал недорослей... определял им по червонцу в неделю кормовых (весьма много), потом отправил их в Венецию, дав им по 25 червонцев на дорогу. Тамошний наш агент Беклемишев записал их в галерную службу". Интересно, что думал он, делая эту запись, позавидовал ли петровским недорослям? Во всяком случае, вполне вероятно, что именно в это время (точная датировка черновой рукописи не установлена) он писал о Венеции в стихах:

**Ночь света; в небесном поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догареской молодой.**

Бродский в 28 лет поклялся себе, что увидит Венецию. В 32 года он реализовал свою мечту.

Вот почему представлять Бродского

вет, окончательное решение зависело и от него тоже — и он это решение принял. Мог ли он поступить иначе? Мог, но не захотел. Компромиссы его не устраивали. В нем поражало редкое совпадение человеческого и поэтических качеств. Человек и поэтический дар в его случае накладывались друг на друга без зазора.

Точно так же в 15 лет он ушел из школы: "Что бы ни подвигло меня на решение — ложь ли, правда ли, или (скорее всего) их смесь, — я бесконечно благодарен им за то, что было, судя по всему, моим первым свободным поступком. Рассудок сыграл тут очень небольшую роль. Я знаю это потому, что с тех пор уходы мои повторялись — с нарастающей частотой. И не всегда по причине скуки или от ощущения капкана: я уходил из прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных", — пишет он в эссе "Меньше единицы".

С советского государства при этом вина, разумеется, не снимается: это оно ставило человека перед необходимостью трагического выбора. В данном случае речь шла о спасении дара и спасении жизни.

Останься Бродский в России, умер бы не в 55 лет, а после первого инфаркта, и не написал бы всего, что написал, и книги, если бы они и вышли, были бы изуродованы. А уж Венеции бы не увидел точно! (Пишущий эти строки увидел ее лишь в нынешнем июне, хотя мечтал о ней еще в стихах 1967 года: "Венеция, когда ты так блещишь, / Как будто я тебя и вправду вижу, / И дохлую в твоём канале мышь, / И статую, упрянтую в

Для НАС, оставшихся в России, его стихи стали поэтическим путеводителем по городам Америки и Европы. Человек, будучи пленником своей судьбы (и самое правильное, что он может сделать, — прислушиваться к тому, что она ему нашептывает на ухо; другому она нашептывает другое), имеет тем не менее возможность прожить не одну, а множество жизней. Наши друзья суть нереализованные тобой варианты возможностей, предложенных поколению (эту фразу я построил, воспользовавшись любимым грамматическим оборотом Бродского). Пушкин — вот кто лучше других понимал это: отсюда его внимание к жизни друзей, горячая заинтересованность в их литературных, семейных, общественных и даже любовных, сердечных делах и драмах; и в посмертной их судьбе — тоже. "И я бы мог...". "Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум...". "Бедный Дельвиг!.. Напишем же втроем жизнь нашего друга, жизнь, богатую не романтическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым чистым разумом и надеждами..." и т. п.

В стихах Бродского семидесятых годов произошла смена лирического героя: появился русский странник на Западе, "совершенно никто, человек в плаще". За ним-то мы и следили так заворуженно, как, наверное, никогда в России не читали ни "Записок русского путешественника" Карамзина, ни "стихов, присланных из Германии", Тютчева, ни итальянских стихов Блока. Был поставлен ошеломительный опыт — проверена воз-

ние о своем поколении, не обо всем, разумеется, лишь о его незначительной части, и все-таки: "Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто не умел писать по-русски лучше, чем они, никто не презирал наше время сильнее. Для этих людей цивилизация значила больше, чем насущный хлеб и ночная ласка. И не были они, как может показаться, еще одним потерянными поколением. Это было единственное поколение русских, которое нашло себя, для которого Джотто и Мандельштам были насущные собственные судьбы. Безнадежно отрезанные от большого мира, они думали, что уж этот-то мир должен быть похож на них: теперь они знают, что и он похож на других, только нарядней..." ("Меньше единицы", 1976). Оценка несколько завышенная, не так ли? И тем не менее кое-что объясняющая.

Через несколько лет он сообщил нам, довел до нашего сведения смешную формулировку, нечто вроде резюме, иронической выжимки: "Россия — страна нагана, Америка — чистогана".

Впрочем, в стихотворении, посвященном Барышникову, сделал к прозаическому утверждению не менее смешную стихотворную поправку: "А что насчет того, где выйдет приземлится, / земля везде тверда; рекомендую США".

Мы читали, как дымящуюся сводку с поэтического переднего края, его "Осенний вечер в скромном городке..." ("Здесь утром, видя скинни молоко, / Молочник узнает о вашей смерти..."). "Лагуны" (Венецйских церквей, как сервисов чай-